



ЯРОС БЕЗ ОТЦА, сложившего голову под Сталинградом. И без братьев — мама и бабушка irradiвали меня среди голода, разрухи, не давая погаснуть последнему огоньку нашего побитого рода. Псковские друзья были мне отцами и старшими братьями. Теперь, когда их нет на земле, я чувствую их присутствие в себе постоянно, как тайные слёзы, любовь, сокровенную веру в бессмертие, в грядущую, нам уготованную встречу. Под стенами Изборской крепости с каменными крестами, бойницами, крохотными, растущими из развалин берёзами. Или на Труворовом городище, на каменных ступенях маленькой, драгоценно-белой Никольской церкви, куда в жару приходили овцы, и мы, окружённые их пыльными горячими телами, библейскими глазами, смотрели на озеро с плавающим лебедём.

Иногда просыпаюсь и вижу себя молодым в разрушенном коробе мальского храма. Старательно прикладывая рулетку к щербатым стенам, обмеряю апсиду, проём окна, остатки каменных шершавых столпов. Бережно заново контуры храма на неумелый чертёж, выполняю поручение любимого друга, реставратора Бориса Степановича Скобельцына, для меня — просто Бори. И он сам вдалеке приближается ко мне по цветущей горе, машет ржаным колоском. Не дойдя до церкви, делает несколько снимков, прицеливаясь в меня стареньким "Киевом", избегая в странной иероглиф, похожий на большого журавля. Выхватывает из сияющего пространства исчезающую секунду, которая ныне, как засухенный цветок, лежит в моей коллекции фотографий, сделанных замечательным художником.

Говорят, что Андрей Рублёв внёс в русское средневековье, в пору Московской Руси, лучистый свет Возрождения. Утверждают, что Пушкин под угрюмые своды тяжёловесной Российской империи привнёс ослепительную радость Ренессанса. Быть может, в "красной" советской империи, в её северо-западном уголке, во Пскове, явилось краткое чудо Возрождения, привнесённое в железную музыку жестокого века горсткой ликующих, гениальных людей, к которым принадлежал Скобельцын.

Они вернулись живыми с самой жестокой войны: иные — израненные, другие — сотравненные ужасом потерь и страданий. Вытравлялись опалённые из огнища, не веря в чудо спасения, обожествлённые великой Победой, страстно желая восполнить бесцельные смерти. Из окопа — в аудиторию ленинградских институтов, а оттуда — во Псков, на законченные руины церквей, на изглоданные башни монастырей и крепостей, на которых ещё виднелось: "мин нет". Вся их страсть и любовь, запоздалое ожидание чуда раскрылись в работе по воссозданию храмов, среди восхитительной псковской природы. Намоленные, с блёклыми фресками стены, их живая неосыпавшая древность, и Ангел Победы, вивавший над русской порубежной землёй, возвысили этих людей, многократно умножили их таланты и знания, поместили в них световые силы, сделали людьми Возрождения.

Скобельцын неумоимо ходил по псковской земле, исхаживая её, как землерой. Мерил её вдоль и поперёк длинными, не знавшими усталости ногами, словно высчитывая шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже. Я едва поспевал за ним. Глядел, как он шагает, увешанный аппаратами, с полевой военной сумкой, где хранились обмеры дворянской усадьбы или монастырского погоста. Видя, как я устал, он оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Безлужбо хохотал, бодрил, трюнил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красивые сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался.

Часовенка "Ильи Мокрого" на Печёрском тракте, у блестящей струйки ручья, который мелко вилял по равнине, а потом опрокидывался вниз, с кручи, к

озеру, питаясь по пути ключами, родниками, донными струями. Наливался, шумел, бурно гремел водопадами, вращал на своём пути пять водяных мельниц с зубастыми сырыми колёсами, стуком каменных жерновов, белой ржаной пудрой на спине потного мельника. В часовне — тёплый сумрак, аляповатый образ Ильи Пророка, вянувший букетик цветов, и Боря, наступив на блестящую воду, фотографирует нашу спутницу, прелестную женщину, выходящую из часовни на свет.

Усадьба Волюшова под Порховом, старинный обветшалый дворец без дверей и окон, с крапивою посреди гостиной, с лопухами, заполнившими кабинеты и спальни, с ласточками, пронсающимися сквозь танцевальный зал, где когда-то блистательные офицеры и дамы, заезжие петербургские гости и соседские румяные барышни танцевали котильон и мазурку. Боря фотографирует грифонов среди золотых одуванчиков, на которых пасутся белые козы.

Мы идём по аллеям с дуплистыми расщеплёнными липами. И такая сладость и боль, чувство исчезнувшей, испепелённой жизни, которая никогда не воскреснет. И в просторных весенних полях, среди розовых пашен — озеро, круглое, ярко-синее, наполненное небесной лазурью, и по берегу — разноцветный, как на иконе Флора и Лавра, ходит табун лошадей.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Устье, там, где река Великая впадает в Псковское озеро. Белая обветшавшая главка выступает из высоких бурьянов. Мы пришли к ней по жаркой низине, где, сложенные из камней, с продырявленными крыльями, стоят ветряные мельницы, похожие на летательные аппараты древности, так и не взлетевшие со своих аэродромов. Сидим с Борей в причаленной длинной ладье. На мокром днище — сорванная сырая кувшинка. Он читает мне сонеты Шекспира о смуглой леди, о чей-то мучительной безответной любви. И большая сладкая мысль: неужели когда-нибудь, утопленный и старый, я приду к этой церкви и буду вспоминать кувшинку, маленькую книжицу в Бороных загорелых руках, его звучное страстное декламирование, и на синей озёрной воде — медлительные длинные лодки, на которых крестьяне везут с островов накошенные зелёные копны, и лица гребцов — красные при свете низкого солнца.

Мы поднимаемся по крутым ступеням в каменной толще псковского Троицкого собора. Ступень за ступенью — под кровлю, под толстенные деревянные балки, пугая голубей, по шатким деревянным лестницам, под самые купола в горячем смуглом сумраке. Он хочет сделать снимок из-под крестов, из неба, и мы совершенно долгое мучительное восхождение, задыхаясь, хватаясь за сердце, страшая падения в душную мглу, сквозь трескучее дерево ветхих перекрестий и лестниц. Попадаем в на-калённый шар жестяного мрачного купола. Открываем оконце в обшивке. И сияющий ветряный мир врывается в сумрак — блестят озёра и реки, белеют храмы, выются в полях дороги. Мы под крестами, среди свиста стрижей, тугого ароматного ветра. Возносимся на золотых куполах, как на воздушных шарах, ликующие, пережившие внезапное, небывалое счастье, любовь к этой неоглядной родной земле, над которой летят наши любящие бессмертные души.

Земля, по которой ходил Скобельцын, открывала ему свои сокровенные долины, ручейки, небывалые просторы, разноцветные камешки, придорожные кресты, заросшие лесом, брошенные монастыри и погосты, тускло-золотые иконостасы, шумные ливны, падающие в цветущие лыны, сахарно-белые льдины, плывущие по Великой вдоль стен Мирожской обители, бесконечную красоту облаков над шатрами кремля, над крестьянскими избами, над разливами вод у Залита, когда из облака вдруг падает прозрачно-синий шатёр лучей, шевелит попастыми, как божиими перстами, словно ищет кого-то, пока не загорится ослепительно белый, на зелёной горе, псковский храм.

ЗЕМЛЯ ИСКАЛА своего певца, своего художника — и нашла его в моём друге. И он сам, ленинградский горожанин, уроженец иной культуры, иной имперской идеи, неустанно пылил по псковским просёлкам, отдыхал на сеновалах, пил из ручья и колодцев, покрываясь смуглым загаром, белёсой пылью, тусклой сединой. С каждым походом, с каждым рисунком и фотоснимком, с каждой обмерянной и отстранированной усадьбой и церковью становился сыном этой земли, ею самой. Питался её тайными животворными силами, говорил её таинственным живым языком.

Когда я смотрю на писанную на мальских горах картину Рериха "Пантелеймон Целитель" — где чудный старец идёт над озером среди разноцветных трав и камней, я вижу Бору: прислонился к огромному нагретому солнцем камню, с которого вспорхнула малая бесшумная птичка.

Во Пскове, полюбовавшись на храмы, приезжали из других городов ревнители старины — архитекторы, писатели, студенты. Скобельцын вёл их по городу, как проповедник, открывая их жаждущим, наивным душам таинство веры. Бёл по Запсковью, Завеличю, увозил в Изборск и Печоры. Из его уст они слышали имена церквей как имена псковских посадских. "Василий на горке", "Никола со Усохи", "Илья Мокрый", "Никола на городище".

Он говорил о церквях, как говорят о людях, — о живых, одушевлённых, неповторимо-разных, со своими нравам, характером и судьбой, проживших долгий век среди озёр, облаков и зелёных нагорий.

В первые годы нашей дружбы он не был религиозным. Не веровал в канонического Бога. Не трактовал храм как образ мироздания, вместилище божественной идеи, чувствительца, через которого вставшие на молитву люди познают Бога Живого. Он рассматривал церковь как техническое, архитектурное сооружение. Оценивал его геометрию, конструкцию столпов и сводов, крепость замковых камней, прочность и надёжность барабана, устойчивость апсид, гармонию закомар. Он видел в храме акустический прибор в виде голосников — вмурованных в стены глиняных сосудов-резонаторов, усиливающих глас поющих. Исследовал оптику храма, когда в оконца, на разных высотах, в разное время дня, проникал в церковь луч солнца — на восходе, на закате, в сияющий полдень. В подклети он искал валуны, не подверженные действию грунтовых вод и подземных ключей. В звоннице, много раз перестроенных, отыскивал первооснову, созвучную с изначальным замыслом.

Инженер, архитектор, любивший в институте рисовать самолёты и корабли — он был и художником, ощущавшим красоту храма. Чуждо его появления. Божественную простоту, рукотворность. Теплоот спеленных руками стен, напоминающих белёные русские пещи. Человеческое подобие — выпуклые груди апсид, округлая шея, крепкая ладная голова, мягкие складки одежд, которые у земли соединяются с зелёной травой. Он ощущал абсолютную точность, с какой был поставлен храм, соединяющий гору, реку и небо. Необходимости, неизбежности, с какой архитектуры древности завершали сотворённый природой ландшафт.

Он реставрировал церковь. Возвращал ей первозданный облик. Перед этим проскакивал в архивах, рылся в церковных книгах, перелистывал летописи и воспоминания земских краеведов. Мерил, делал чертежи, рисовал, фотографировал, прежде чем позвать каменщиков, плотников, кровельщиков, возвести вокруг развалин строительные леса и начать реставрацию. Каждая воссозданная им церковь — это Лазарь Воскресший, к которому прикоснулись любящие, чудодетельные руки Скобельцына. И, повторяя работу своих верящих, религиозных предтеч, благоговее перед ними, перед их созданием, перед божественной природой, он, храмоздатель, испытывал религиозное благоговение перед жизнью, в которой через Истину, Красоту и Добро проявляется Божество.

Через много лет его отпевали на старом псковском кладбище. Сквозь синий кадилый дым я смотрел на его строгое неживое лицо, на бумажный венчик с поминальным напутствием, что обрамлял его холодный лоб. И было в нём странное сходство с церковной главой, по которой неведомый псковский мастер пропустил бегущую строчку орнамента.

Скобельцын был из древнего дворянского рода. Генеалогическое древо, начертанное его острым витиеватым пером, выводило род Скобельцыных из постельничих или сокольничих Алексея Михайловича. Он был племянником известного физика Скобельцына, открывателя элементарных частиц, обласканного Сталиным. Бороин аристократизм, как у многих родовитых русских людей, проявлялся в глубоком почитании, любовно-сердечном отношении к народу, с которым вместе ссоевал страшную войну, где не раз закрывал глаза молодым крестьянским парням и усталым деревенским мужикам. Народ был для него такой же основополагающей, божественной категорией, что и Природа, Архитектура, История. Его любили в деревнях, открывали перед ним двери, пускали на постой, подносили крынку молока и ломоть хлеба, охотно отвечали на его вырашивания, вешали на стену его фотографии, где хозяйева были изображены в своих садах и огородах, у сельских храмов, в окружении деревенской родни. В его коллекции снимков след за крепостями и монастырями следовали псковские люди, потомки тех, кто строил Псков из крепкого известняка и песка.

Рыбаки, вернувшиеся из озера со снетковой путини, чёрные от солнца, вылакивают на берег влажные огромные сети, развешивают по заборам, колым, кустам, и тогда весь остров Залит становится похожим на рыбину, попавшую в прозрачную сеть, вместе с избами, кручами, острём колокольни. Рыбацкие, счастливые, дождавшиеся мужей, топят бани, достают белое мужичье бельё, ставят на стол бутылку водки.

КУЗНЕЦЫ — бородатые, блестящие, потные, в фартуках, с перевязями на плечах. Один клещами держит на наковальне сияющую, прозрачно-белую подкову. Другой бьёт её точным коротким ударом. Даже на снимке слышен звенящий звук, видны пернатые искры. В полукружье каменной кузницы, на свету виден привязанный жеребёк, тревожно навостривший уши, и бескрайняя, как на картинах итальянцев, даль с озёрами, реками, темнеющими на воде челноками.

Косари в вольных, навислых, рубахах, по пояс в цветущих бурьянах. Художник

уловил моментальную силу взмаха, напруженные выставленного крутого плеча, шестел падающих стёбелей, мокрый блеск косы, влажную сочную кипу, в которую погрузилось железо. И крестьянское лицо, одновременно удалое и усталое, яростное и смиренное, как у пехотинца, у ратника, в извечных трудах и сраженьях.

Пожалуй, таких лиц теперь не сыскать — кажутся мельче, суетней и нервной. Или это мастер осветил их своим благоговением и обожанием. Нарисовал их просветлённой оптикой. Днёс до наших дней исчезнувшее, одухотворённое время.

Мы останавились в Малах у кузнецца Василия Егоровича. Целый день гремел железом, краснел лицом над горном, раздувал сильные, дующие пламенем меха. Жена его Екатерина Алексеевна — на колхозных полях, на сенокосах, на комариных болотах, где резали на зиму траву, выкладывали его сырыми ковригами. Мы с Борей обмеряли развалины мальской церкви — шелушащийся каменный свод, поросший сладкой, растущей на камнях земляничкой. К вечеру кузнец усаживался в сад у яблонями и мастерил большой жестяной крест, заказанный ему в соседнем селе, где случились недавние похороны. Крест собирался из витых полосок, завитков, жестяных цветков, сваривался, спаивался, свинчивался. Был похож на узорный прозрачный куст, увитый выно-

ками, горошком, повиликой, с бутонами и побегами. Такими крестами, изделыми кузнецом, были уставлены окрестные погосты, напоминавшие кустистые заросли. Василий Егорович, протухивая молодчиком, рассказывал нам о своём житье-бытье, расспрашивал о разных разностях. И почему-то каждый раз сводил разговор к Индии. Он мало где побывал, разве что во Пскове да в Тарту, и никогда — в Москве. Но мечтал побывать в Индии, как мечтали наши предки посетить сказочное Беловодье. Должно быть, в этом мальском кузнице жил Афанасий Никитин или Марко Поло, или Васко да Гама. Поневолу привязанный к крохотному кусочку псковской земли, свою мечту, своё сказочное упование он воплощал в чудесном издегрии, в железном кресте, одухотворяя его, превращая из железа в растение. Мы отдыхали от дневных трудов, говорили об Индии, сквозь прозрачный крест синело мальское озеро, за чёрной рыбацкой долблёнкой тянулся стеклянный след, и яблоки над каменным колодцем были золотые, как в райском саду.

Спустя тридцать лет я побывал в Малах. Нашёл на церковном кладбище могилы кузнецца и его доброй жены. Помню горькой чаркой. Поставил свечу. И крест над могилой был — как сербный куст, в повители выновок и горошков, и озеро с тёмной лодочкой голубело сквозь витые узоры.

НЕ ОДИН СКОБЕЛЬЦЫН был певцом и ревнителем псковской земли. Но и его друг — реставратор Всеволод Петрович Смирнов, воссоздатель Кремля и Печор, откопавший медный прапор, что гремит на ветру под стенами Домонтова города, отчеканивший образ преподобномученика Корнилия, что вмурован в стену Печор, — мудрец, весельчак, труженик, своей могучей статью похожий на Покровскую башню — его любимое дитяще на берегу Великой. И конечно же, Семён Степанович Гейченко — кудесник, ревнитель, поднявший из праха Михайловское и Тригоровское, однокорный инвалид Великой войны, озарённый Пушкинами, как Ангел Хранитель с одним крылом, выросшим на месте оторванной ноги, вивавший над Соротью и городищем Воронич. И Олег Викторович Творогов — собиратель рукописей, хранитель усадьбных библиотек, знаток старины, склонявший свои пыльно-серебряные тяжёлые кудри над рукописными житиями. И археограф Григорий Павлович Гроздилов, приезжавший каждое лето из Эрмитажа копать древний Псков, его полустлелвшие деревянные мостовые, полусгоревшие чёрные срубы, каменные фундаменты исчезающих храмов, мечтавший, вслед за новгородцами, найти берестяную грамоту, — нашёл, наконец, под слоем вековых отложений начертанное на берёсте послание. И Лев Павлович Катаев — московский архитектор, друживший, как и я, со Скобельцыным и Смирновым. И ленинградский писатель Радий Погodin. И московский художник Пётр Оссовский, попавший однажды на остров Залит и всю жизнь рисовавший его камни, кручи, лодки, небесные знамения, неведомые, встające над островом светила, загадочные письмены, всплывающие на неоглядных водах. Сюда приезжал Лев Гумилёв, войдя в псковское братство, здесь, во Пскове, проверявший свою теорию пассионарности, когда вдруг из Космоса упал прозрачный таинственный луч на обгорелые руины и унылые пепелища и явил на свет горушку неистовых, неумолимых творцов, создавших заново чудный град.

Псков тех лет был центром притяжения для всей культурной России. Всяк, побывавший здесь, встречался с чудом. Слово огромный голубой мотылек легко касался его крылом, и он, преобразённый, уносил легчайшую пылью, делавшую его человеком "не от мира сего". И я, постаревший, на своём утомлённом лице несущ драгоценные пылинки, оставленные псковским голубым мотыльком.

Это было удивительная пора в истории Родины, когда страна, исцелившись от огромных хворей и бед, отдохнув от надрынных трудов, вдруг расширилась в высоту и глубину. Устремилась в просторственный космос, строя космодроны, ракеты, космические корабли, научая первых своих космонавтов. И одновременно, сделав глубокий вздох, устремилась в Космос духовный, в свою историю, веру и красоту. Два эти Космоса готовились встретиться: ракеты, похожие на белые колокольни, и соборы, стремящиеся в лазурь свои кресты и маковки, сулили стране небывалое будущее. Гагарин, Леонов, Титов были космонавтами материальной Вселенной. Скобельцын, Смирнов, Гейченко были космонавтами духовной России, выразителями высшего смысла русской истории.

Люди эпохи Возрождения — это не святости, не схимники, не унылые книжники, а страстные деятели, дуэлянты, творцы. Кисть сменяла кинжал, философский трактат приходил на смену политическому воззванию, любовные истории перемежались с путешествиями, опыты в лабораториях не мешали мистическим религиозным прозрениями. "Псковское возрождение" не было исключением. Среди лазурных озёр, крепостных стен, боготворенных икон мои друзья яростно и неумоимо работали, любили прекрасных женщин, составлялись, реновали, схватывались в жесто-

ких спорах, ссорились насмерть. Снова мирились, устраивали пиры на деревянных столах при горящих чадных светильниках, наливались допьяна, издевались над партийными самодурами, не щадили монастырских лицемеров. И всё их бытие было нескончаемым творчеством, неунынным трудом, после которого оставались возрождённые храмы, чудесные картины, кованные светильники, фотоставки, напоминавшие развешенные по стенам скрижали, где языком фотографии были начертаны заветы и заповеди псковской земли.

"Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты времени заложник, у вечно-сти в плену!" — будил меня по утрам Боря, подымая из зелёного душистого сена на каком-нибудь деревенском сеновале, и начинался наш огромный, светосносный, похожий на подсолнух, день, когда мы вновь пускались в странствия, пили из ручьёв студёную воду, пробирались по болотам, путая журавлей, к развалинам Крыпецкого монастыря, по пути читая стихи, споря до крика, приходя к согласию над розовой полевой геранью, у каменного придорожного креста, под тёмным небом с белыми лучистыми звёздами.

Два друга и единомышленника, Скобельцын и Смирнов, два художника, соседы по дому, сослуживцы по реставрационному мастерским, почётные граждане города Пскова, окружённые по-

клонниками и поклонницами, принимавшие оба в своих домах паломников из обеих столиц, пример для творческого подражания, образец бескорыстного служения и братского единения, — оба они вдруг посорисились вдрызг, так, что не переносили друг друга на дух, не разговаривали, перебежали при встрече на другую сторону улицы, приходили в ярость, когда остальные друзья хотели их примирить, за глаза осыпали друг друга беспощадными, без выбора слов, упреками.

Природа этой ссоры была неясна, поводы её были пустынями. Быть может, она гнездилась в стремлении каждого представить её перед миром. Двум художникам и творцам было тесно в одном городе, в одном историческом времени, и они, повторяя горький опыт предшественников, ввали в желчное, издевающее неприятие друг друга.

Мы, их друзья, горевали. Поклонники, создавшие миф о "псковской гармонии", о "райском бытии", о мудрецах и философях "псковского братства", кручинились, сетовали. Кончались гармония, кончился Ренессанс. Наступили сумерки. Все затмили близкие неизбежные беды, надвинувшиеся на страну. Оба старились, болели, тускнели лицами, погружались вместе со всей остальной страной во мглу.

Так было угодно Кому-то. Кто вывел их живыми из крошечной войны, привёл обоим во Псков, указал перстом на святыне руины, простёр над ними благословляющую длань, сделал творцами, счастливыми, обладателями боготворенных истин, а потом разлучил, разделил, поставил между ними стену повыше стены Домонтова города.

Так было угодно судьбе, чтобы оба в одно время оказались в одной больнице, на разных этажах, сражённые одной и той же болезнью.

Боря умирал, впадал в забытие. В краткие минуты просветления тушил о незаконченной выставке, о жене и детях. Снова, усыпленный наркотиком, погружался в сумеречность, не узнавал никого. За полчаса до кончины к нему спустился Смирнов. Уселся на край кровати, глядя на бредящего, отходящего друга. На краткий миг Боря пришёл в себя. Узнал Смирнова. Не имея сил говорить, протянул ему руку. Тот принял её. Держал в ладони, пока Боря не испустил дух. Они примирились в последние минуты перед Бориной смертью, за которой следом пришёл черёд и Смирнова. И это тоже было угодно Богу, в этом было наизидание, притча о жизни и смерти, которому мы, куда живые, непрерывно разгадываем.

ЭПОХА псковского Ренессанса кончалась вместе с другой, огромной эпохой. Два Космоса, в которых отыскивала себя страна, — Космос материальной Вселенной и Космос бесконечного духа — не встретились. Перестройка, перестраивающая рай в ад, мощь в бессилие, державу в мусорную яму истории, подходила к своему триумфальному завершению. Боря мучился физически и душевно, объясняя свой телесный недуг болезнью страны. Работал, как никогда, готовил выставку за выставкой, систематизировал свой огромный фотоархив, записи, письма. "Приобрал горницу" перед тем, как уйти.

С Лёвой Катаевым мы приехали к нему во Псков и втрёмом отправились в Устье, где на круче, сияющими очами в Псковское озеро, стояла белоснежная Никольская церковь, любимое творение Бори. Длинная старая лодка лежала на берегу носом в бурьяне, ветхой кормой — в голубом мелководье. Быть может, в ней много лет назад мы сидели с Борей, и я слушал сонеты Шекспира, и мимо краснотелые гребцы везли в ладьях копны зелёного сена.

Мы сели втрёмом в лодку. Мимо проходил случайный прохожий. Боря передал ему аппарат, попросил сделать снимок. "Ладья отплывающая" — так называю я этот снимок, где двое из нас уже уплыли в бесконечный разлив, и только я задержался, терпеливо жду перевозчика, всматриваюсь в блеск вод, где исчезли мои друзья.

Борю хоронили поздней морозной осенью на старом псковском кладбище. Гроб стоял у открытой могилы. Священник служил панихиду. Мерцала в стаканчиках поминальная водка. Боря лежал среди кипы замёрзших пыльных цветов, строгий, с серебристой бородой, отчуждённый от нас. Внезапно сквозь кадилый дым, песнопения, колымажные толпы из неба прынул голубь. Слетел прямо в гроб. Встал на груди у Бори. И это было чудо, это было знамение, продолжение притчи о Жизни и Смерти и о грядущем Воскресении. "Святой дух", — тихо сказала женщина.

Через много лет я явился в Пскове Печерский монастырь. Прошёл сквозь надвратную церковь Николы, столь любимую художником Рерихом, где сейчас, в тёплом сумраке, мягко пылают лампы перед образами иконописца Зенона. Спустился по брусчатке "кровавой дорогой", по которой Грозный Царь нес на руках обезглавленное тело Корнилия, обгряясь кровью, ужасаясь своему злодеянию. Монастырь поместился на дне глубокой промоины, на ручье, и стены

его и башни, подымаясь на обе стороны вверх, образуют подобие могучих крыльев. Сама же птица — разноцветная, перламутровая, сидит внизу, на гнезде. Готовая взлететь, тянет к солнцу сияющие купола, волна за волной, дышит безликой, синевой, золотыми звёздами, прозрачными, как лучистый дождь, крестами. Ликование, радость. Яблоки наливаются в высоком монастырском саду. По лестнице вниз спускается процессия монахов: чёрные клобуки, мантии, тяжёлые бороды. Настоятель несёт впереди золочёный потир. Шествуют, словно спускаются с небес. Погружаются в зелень густых деревьев. Исчезают, словно проходят сквозь монастырские стены в окрестные поля и леса, в бесконечность, не касаясь земли, неся перед собой золочёный лучик света.

Звонница — белый каменный великан, держит в могучих руках гремящие колокола. Монахи с земли тянут верви, раскачивают тяжёлую медь. Действуют ногами, вставая столу в ремennую петлю. Бьют руками, натягивая кручёный канат. Качаются огромные, редко уходящие кампаны. Им вторят средние, в зелёной палатне, с отлитыми надписями, образами, заполняя ровным гулом промежутки грозных ударов. Часто, радостно, посылая к солнцу счастливые звоны, торжуют те, что помельче. И совсем уже малые, как бубенцы, развешенные на слезах и перекладах, рассыпаются под ударами молотков, коими ловко играет монах. И всё это распадается густыми волнами звука, воспаряет сочными фонтанами, летит брызгами, сыпет сверкающей пылью, повергая дух в счастливое изумление, в ликование. Молодой синеглазый монах подтолкнул ярусу, давит ногой в ремennую петлю. Воздел к небу счастливое молодое лицо.

Из-под этих звонов, золотых куполов, солнечных ликующих деревьев вхожу в пещеры. Погружаюсь в гору, во тьму, сырость, хлад, несё перед собой тонкую робкую свечку. "Богом зданные пещеры", катакомбы первохристиан, источники гора, изъели песок, изветвились потаёнными ходами. Сюда много лет назад мы спустились с Борей, чтобы исследовать подземные кладбища, братские погребения, могильные опочивальни в песчаных стенах, куда укладывалось тело воина, погибшего при осаде монастыря, прах почившего монаха, бездыханная плоть усопшего князя или поместного дворянина. Долблённую нишу прикрывали песчаной плитой с выточенными письменами или глиняной керамидой с зелёной лазурью. Боря неумоимо, сотня за сотней, фотографировал надгробья, чтобы потом знатоки церковно-славянских текстов расшифровали надписи, составили описи уникального некрополя. А я ходил в глубину пещер. Подносил свечу к провалу в стене, где от пола до потолка один на одном стояли гробы. Верхние, ещё сохранившие древесный цвет, плещущие своей тяжёлой нижней челюстью. Эти гробы гробов, наполненные прахом и костями живших до меня поколений, среди которых под спудом лежали Адам и Ева, вытесывали не страх, а таинственное воление. Как на иконе "Сосшествие во Ад", солнце, на эти гробы, сквозь толщу горы спустится светосносный Христос. Протянет руку, подымая из праха мертвых, возвращая в пустыне глазницы радостный блеск глаз, одевая голые черепы пыльным шёлком волос, покрывая чёрные кости живой нежной плотью.

Теперь, перед приездом в Печоры, я совершил поминальное странствие по Псковщине. Поклонился могиле Пушкина. Печально любялся на остатки усадьбы Кутузова. Побывал в местечке Чернушки, где Матросов кинулся грудью на дот. Проплыл на моторке у Бороного камня, где на льду сражался с тевтонами Святой Александр. В десантной дивизии стоял у памятника Шестой героической роте. На могилах друзей осушил поминальную чарку. Кунался у Устья, смотрел в воды на чудный, воссозданный Борей храм.

Псков стал иным, порубежным. Чужие дивизии вот-вот подойдут под Изборск. Страна уменьшилась, ослабела. Горемычный, тающий народ приуныл. Только Москва, как ночная танцовщица, бросает в русские сумерки разноцветное павлинье зарево, которое из провинции смотрится, как сполох беды. У Москвы нет идеологии, нет заботы о России, нет слов для народа. Но они есть тут, во Пскове.

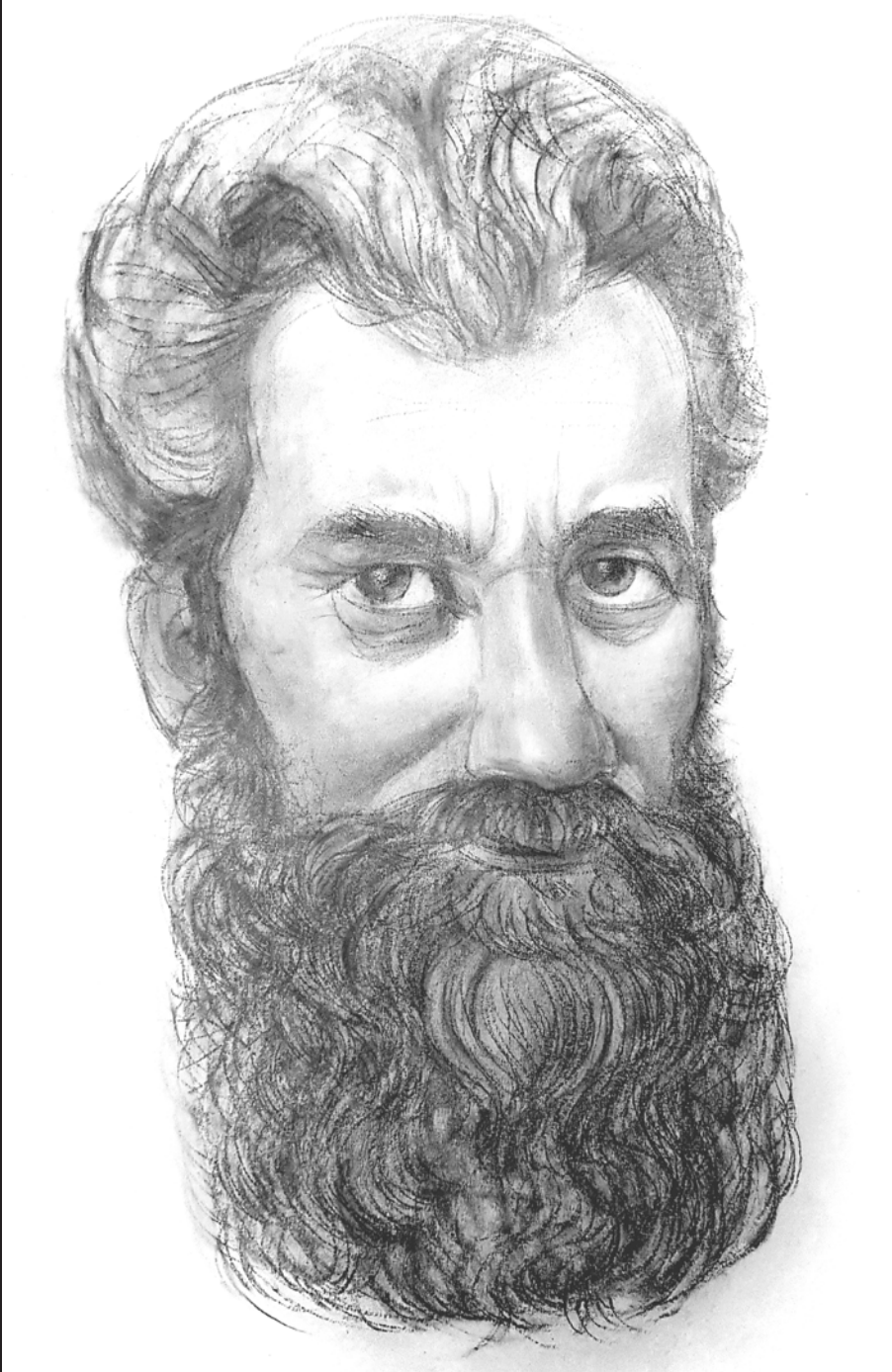
На псковских землях жили два православных старца — Иоанн Крестянский и Никола Залитский. Здесь, в глухой деревушке, удалившись от мира, писал дивные иконы монах Зенон. Здесь живут и работают талантливые художники, умные литераторы, помнящие Скобельцына и Смирнова. Кому, как не им, осмысливая древнюю и недавнюю историю Пскова, его жертвенность, стоицизм, разностное мироощущение, кому, как не им, воздвигать славу Русской Победы, идею Русского Воскресения? Это слово — на устах, вот-вот разразится.

ЯСТОЮ ОДИН глубоко под землёй. Свечка моя погасла. Вижу, как вдалеке, на перекрёстке ходов, монах ведёт богомольцев. Слышится негромкое пение. Загораются огоньки и гаснут. Кажется, под землёй один за другим летят тихие светлячки.

Смотрю на вереницу огоньков, протекающих в царстве пещер. Слабо озаряются лица. Крестьяне соседних селений. Богомольцы с дальних приходов. Кузнец Василий Егорович держит свечку в большой тяжёлой руке. Жена его Екатерина Алексеевна с лёгкой птичьей походкой. Монахи, что убиты на стенах, отражая Стефана Батория. Пушкин наклонил к огоньку кудрявую голову. Князь Александр Невский в плаще и доспехах. И князь Михаил Кутузов с перевязью на правом глазу. В этой веренице, коей нет конца, среди ратников и пехотинцев вижу Александра Матросова в изорванном пулями бушлате. Вижу "красного" ополченца, разбившего наступавшее войнство кайзера. И Шестая десантная рота, строие, истовые, с автоматами, в бинтах, в камуфляже. Проходит Боря, Сева и Лёва, три одинаковые, мягко проплывшие свечи. И мой отец, лейтенант, павший в Сталинградском сражении. Экипаж погибшего "Курска", все как один, с лёгким свечением лиц. И я сам, молодой, почти отрок, идущий среди них, боясь загасить свечу. И ведёт нас ангел с голубыми крыльями, похожий на лазурного мотылька. Лицо ангела, прекрасное, чудное, кажется мне знакомым. Где я видел его? На рублёвской "Троице"? На картине Чимабуэ? Или это тот самый прохожий, что набрёл на нас, сидящих в старой ладье, сделавший снимок на память?

Погибший моряк "Курска" написал в предсмертном записке: "Не надо отчаиваться". Я не отчаиваюсь. Мне не страшно в русской святой катакомбе. Не ведёт ангел с голубыми очами. Не в подземный Ад, а в небесный Рай, где в саду поспевают яблоки, золотятся главы соборов и звучит немогучее колокольное пение.

Александр ПРОХАНОВ



Борис Скобельцын. Автопортрет